



*Посвящается  
Мэри Уэбстер  
и Перри Миллеру<sup>1</sup>*

И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю.

Иаков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, Который не дал тебе плода чрева?

Она сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней; пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее.

*Бытие, 30:1–3*

Что до меня, то, притомившись за многие годы высказывать бессмысленные, тщетные, несбыточные суждения и в конце концов решительно потеряв веру в успех, я, по счастью, осенен был сим предложением...

*Джонатан Свифт.  
Скромное предложение<sup>2</sup>*

Нет в пустыне знака, что говорит: и не вкуси камней.

*Суфийская притча*

---

<sup>1</sup> Мэри Уэбстер (в девичестве Ривз, ок. 1626–1696) — одна из коннектикутских предков Маргарет Этвуд. В 1683 г. предстала перед судом по обвинению в колдовстве, была оправдана, однако впоследствии оказалась жертвой самосуда: в 1685 г. местная молодежь попыталась повесить «ведьму», а затем похоронила ее в снегу; то и другое Мэри Уэбстер пережила. Перри Миллер (1905–1963) — американский историк, профессор Гарвардского университета, под чьим руководством Этвуд в начале 1960-х изучала историю Америки вообще и раннее пуританство в частности. — *Здесь и далее прим. переводчика.*

<sup>2</sup> В сатирическом памфлете английского писателя Джонатана Свифта «Скромное предложение касаясь того, как воспрепятствовать бедняцким детям в Ирландии стать обузой родителям или стране, а равно о том, как извлечь из детей сих пользу для общества» (1729) автор предлагает решать проблему бедности Ирландии путем поедания ирландских младенцев.

# I. Ночь

## Глава 1

Спали мы в бывшем спортзале. Лакированные половицы, на них круги и полосы — для игр, в которые здесь играли когда-то; баскетбольные кольца до сих пор на месте, только сеток нет. По периметру — балкон для зрителей, и, кажется, я улавливала — смутно, послесвечением — едкую вонь пота со сладким духом жевательной резинки и парфюма девочек-зрительниц в юбках-колоколах — я видела на фотографиях, — позже в мини-юбках, потом в брюках, потом с одной сережкой и зелеными прядками в колючих прическах. Здесь танцевали; музыка сохранилась — палимпсест неслыханных звуков, стиль на стиле, подводное течение ударных, горестный вопль, гирлянды бумажных цветов, картонные чертики, круговерть зеркальных шаров, что засыпали танцоров снегопадом света.

В зале — древний секс, и одиночество, и ожидание того, что бесформенно и безымянно. Я помню тоску о том, что всегда на пороге, те же руки ли на наших телах там и тогда, на спине или за чьей-то спиной — на стоянках, в телегостиной, где выключен звук и лишь кадры мельтешат по вздыбленной плоти.

Мы тосковали о будущем. Как мы ему научились, этому дару ненасытности? Она витала в воздухе и пребывала в нем запоздалой мыслью, когда мы пытались

уснуть в армейских койках — рядами, на расстоянии, чтоб не получалось разговаривать. Постельное белье из фланелета, как у детей, и армейские одеяла, старые, до сих пор со штампом «С.Ш.А.». Мы аккуратно складывали одежду на стулья в ногах. Свет приглушен, но не потушен. Патрулировали Тетка Сара и Тетка Элизабет; к кожаным поясам у них цеплялись на ремешках электробичи.

Но без оружия — даже им не доверяли оружия. Оружие — для караульных, особо избранных Ангелов. Караульных не пускали внутрь, если их не звали, — а нас не выпускали, только на прогулки, дважды в день, парами вокруг футбольного поля; теперь его обтягивала сетка, увенчанная колючей проволокой. Ангелы стояли снаружи, спинами к нам. Мы боялись их — но не только боялись. Хоть бы они посмотрели. Хоть бы мы смогли поговорить. Могли бы чем-нибудь обменяться, думали мы, о чем-нибудь уговориться, заключить сделку, у нас ведь еще остались наши тела. Так мы фантазировали.

Мы научились шептаться почти беззвучно. Мы протягивали руки в полутьме, когда Тетки отворачивались, мы соприкасались пальцами через пустоту. Мы научились читать по губам: повернув головы на подушках, мы смотрели друг другу в рот. Так мы передавали имена — с койки на койку.

Альма. Джанин. Долорес. Мойра. Джун.

## II. ПОКУПКИ

### Глава 2

Стул, стол, лампа. Наверху, на белом потолке, — рельефный орнамент, веноч, а в центре его заштукатуренная пустота, словно дыра на лице, откуда вынули глаз. Наверное, раньше висела люстра. Убирают все, к чему возможно привязать веревку.

Окно, две белые занавески. Под окном канапе с маленькой подушкой. Когда окно приоткрыто — оно всегда приоткрывается, не больше, — внутрь льется воздух, колышутся занавески. Можно, сложив руки, посидеть на стуле или на канапе и понаблюдать. Через окно льется и солнечный свет, падает на деревянный пол — узкие половицы, надраенные полиролем. Она сильно пахнет. На полу ковер — овальный, из лоскутных косичек. Они любят такие штришки: народные промыслы, архаика, сделано женщинами в свободное время из ошметков, которые больше не к чему приспособить. Возврат к традиционным ценностям. Мотовство до нужды доведет. Я не вымотана. Отчего я в нужде?

На стене над стулом репродукция в раме, но без стекла: цветочный натюрморт, синие ирисы, акварель. Цветы пока не запрещены. Интересно, у каждой из нас такая же картинка, такой же стул, такие же белые занавески? Казенные поставки?

Считай, что ты в армии, сказала Тетка Лидия.

Кровать. Односпальная, средней жесткости матрас, белое стеганое покрывало. На кровати ничего не происходит, только сон; или бессонница. Я стараюсь поменьше думать. Мысли теперь надо нормировать, как и многое другое. Немало такого, о чем думать невыносимо. Раздумья могут подорвать шансы, а я намерена продержаться. Я знаю, почему нет стекла перед акварельными синими ирисами, почему окно приоткрывается лишь чуть-чуть, почему стекло противоударное. Они не побегов боятся. Далеко не уйдем. Иных спасений — тех, что открываешь в себе, если найдешь острый край.

Так вот. За вычетом этих деталей тут бы мог быть пансион при колледже — для не самых высоких гостей; или комната в мебелированных прежних времен для дам в стесненном положении. Таковы мы теперь. Нам стеснили положение — тем, у кого оно вообще есть.

И однако солнце, стул, цветы; от этого не отмахнешься. Я жива, я живу, я дышу, вытягиваю раскрытую ладонь на свет. Сие не кара, но чествование, как говорила Тетка Лидия, которая обожала «или/или».

Звонит колокол, размечающий время. Время здесь размечается колоколами, как некогда в женских монастырях. И, как в монастырях, здесь мало зеркал.

Я встаю со стула, выдвигаю на солнце ноги в красных туфлях без каблука — побережь позвоночник, не для танцев. Красные перчатки валяются на кровати. Беру их, натягиваю палец за пальцем. Все, кроме крылышек вокруг лица, красное: цвет крови, что нас определяет. Свободная юбка по щиколотку собирается под плоской кокеткой, которая обхватывает грудь; пышные рукава. Белые крылышки тоже обязательны: дабы мы не видели, дабы не видели нас. В красном я всегда неважно смотрелась, мне он не идет. Беру корзинку для покупок, надеваю на руку.

Дверь в комнате — не в моей комнате, я отказываюсь говорить «моей» — не заперта. Она даже толком не затворяется. Выхожу в натертый коридор, по центру — грязно-розовая ковровая дорожка. Словно тропинка в лесу, словно ковер пред королевой, она указывает мне путь.

Дорожка сворачивает, спускается по парадной лестнице, и я двигаюсь вместе с ней, одна рука на перилах — когда-то был древесный ствол, обточенный в ином столетии, выглаженный до теплого блеска. Дом — поздневикторианский, семейный особняк, выстроен для большой богатой семьи. В коридоре напольные дедушкины часы выдают по крохам время, а за ними дверь в мамочкины парадные покои, сплошь телесность и намеки. Покои, где нет мне покоя: стою столбом или преклоняю колена. В конце коридора над парадной дверью — полукруглый витраж: синие и красные цветы.

Там осталось зеркало, в вестибюле на стене. Если повернуть голову так, чтобы крылышки, обрамляющие лицо, направили взгляд туда, я увижу его, спускаясь по лестнице, круглое, выпуклое рыбоглазое трюмо, и себя в нем — исковерканной тенью, карикатурой, пародией на сказочного персонажа в кровавом плаще, снисхожу к мгновению беспечности, что равносильна опасности. Сестру окунули в кровь.

У подножия лестницы — стойка для зонтов и шляп, гнутая, длинные скругленные деревянные ярусы мягко изгибаются крюками, точно папоротник распустился. В стойке зонтики: черный — Командора, голубой — Жены Командора, и еще один, предназначенный мне, красный. Я оставляю красный зонтик где он есть — сегодня солнечно, я видела в окно. А Жена Командора, интересно, в покоях? Она не всегда сидит спокойно. Порой я слышу, как она расхаживает туда-сюда, тяжелый шаг, потом легкий, и тихий стук ее трости по пыльно-розовому ковру.



Я иду по коридору — мимо парадных покоев, мимо двери в столовую, открываю дверь в конце вестибюля и миную кухню. Тут уже пахнет не полиролем. Тут Рита стоит у стола, над шерботой эмалированной столешницей. Рита, как всегда, в платье Марфы<sup>1</sup>, тускло-зеленом, будто халат хирурга из прошлого. Фасон — почти как у меня, платье длинное, скрадывающее, но поверх него фартук с нагрудником и никаких белых шор, никакой вуали. Выходя на улицу, Рита надевает вуаль, но никому дела нет, кто видит лицо какой-то Марфы. Рукава закатаны по локоть, смуглые руки напоказ. Она печет хлеб, кидает буханки на последний краткий замес, потом на формование.

Рита видит меня, кивает — не разберешь, то ли здоровается, то ли просто дает понять, что увидела, — вытирает мучные руки о фартук, в ящике нашаривает книжку талонов. Хмурясь, выдирает три штуки и протягивает мне. Ее лицо было бы добрым, если б она улыбалась. Но хмурится она не на меня: Рита не одобряет красное платье и то, что оно олицетворяет. Рита думает, я заразная, как краснуха или невезение.

Иногда я подслушиваю под дверь — в прежние времена ни за что бы не стала. Недолго — не хочу краснеть, если застукают. Но однажды я слышала, как Рита говорит Коре: мол, не хотела бы так позориться.

Тебя никто и не просит, ответила Кора. А вообще, если бы вдруг, — что бы ты сделала?

Уехала бы в Колонии, сказала Рита. У них есть выбор.

---

<sup>1</sup> «В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у нее была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лук. 10:38–42).

С Неженщинами, помереть с голодухи и Бог знает как? — спросила Кора. Красный свет: все, приехали.

Они лушили горох; даже из-за полуприкрытой двери я слышала тихие щелчки: твердые горошины падали в железную миску. И Рита: ворчание или вздох протеста или согласия.

Да и вообще, они это для нас для всех делают, сказала Кора. Ну, так говорят. Если б я себе трубы не перевязала, я бы тоже так могла. Десяток лет сбросить — и пожалуйста. Не так уж страшно. На такой работенке не надорвешься.

Лучше она, чем я, пробормотала Рита, и я открыла дверь. Их лица — у женщин такие всегда, если они о тебе говорили у тебя за спиной и подозревают, что ты слышала: смущенные, но еще немножко дерзкие, будто они в своем праве. В тот день Кора была со мной милее обычного; Рита — угрюмее.

Сегодня, несмотря на замкнутое Ритино лицо и поджатые губы, я бы лучше осталась тут, в кухне. Может, из какого-нибудь закоулка дома придет Кора, принесет бутылку лимонного масла и щетку для пыли, и Рита сварит кофе — в домах Командоров кофе по-прежнему настоящий, — и мы посидим за Ритиным кухонным столом, который не больше Ритин, чем мой стол — мой, поговорим о болях и недугах, о болезнях, о наших ногах и спинах, о любом хулиганстве, какое могут учинить наши тела, непоседливые дети. Мы станем кивать в такт словам друг друга, сигнала: да, уж мы-то еще как понимаем. Обменяемся рецептурами и постараемся превзойти друг друга в литаниях физических страданий; мы будем тихо жаловаться, голоса негромкие, минорные, скорбные, будто голуби на карнизе. *Да уж, я понимаю*, станем говорить мы. Или — чудное выражение, его порой до сих пор слышишь от стариков: *Я вижу, к чему ты ведешь*, будто сам голос — проводник, что

уводит тебя далеко-далеко. Он и уводит, он и есть проводник.

Как я презирала такие разговоры. Теперь я их жажду. Это хотя бы разговор. Обмен своего рода.

Или мы бы сплетничали. Марфы много чего знают, они разговаривают, из дома в дом передают неофициальные новости. Как и я, они, без сомнения, подслушивают за дверями, и видят немало, пускай и отводят глаза. Я их иногда застукивала, ловила обрывки бесед. *Мертворожденный, ага. Или: Тыкнула ее вязальной иглой, прямо в пузо. Небось ревность поедом ела. Или дразнят: Она средство для унитаза взяла. Прошло как по маслу, хотя он-то вроде должен был распробовать. Видать, напился вусмерть; но ее запросто нашли.*

Или я помогла бы Рите печь хлеб, окунула бы руки в это мягкое упругое тепло, так похожее на плоть. Я изголодалась по прикосновению — к чему угодно, кроме дерева и ткани. Мечтаю содеять прикосновение.

Но даже попроси я, даже нарушь я до такой степени приличия, Рита не позволит мне. Слишком испугается. Недопустимо панибратство между Марфами и нами.

*Панибратство* значит: *ты — мой брат*. Мне Люк сказал. Он говорил, нет такого слова, которое значит: *ты — моя сестра*. Должно быть, панисестринство, говорил он. Из польского. Он любил такие детали. Словообразование, любопытное словоупотребление. Я его дразнила педантом.

Я беру талоны из Ритиной руки. На них изображения того, на что их можно обменять: дюжина яиц, кусок сыра, бурая штука — видимо, стейк. Я сую талоны в нарукавный карман на «молнии», где храню пропуск.

— Скажи им, пускай свежие дадут, яйца-то, — говорит она. — А не как в тот раз. И цыпленка, а не курицу. Скажи им, для кого, они тогда не будут кобениться.

— Хорошо, — говорю я. Не улыбаюсь. Зачем искушать ее дружбой?

### Глава 3

Я выхожу черным ходом в сад, громадный и ухоженный: в центре газон, ива, плакучие сережки; по краям — цветочные бордюры, нарциссы вянут, тюльпаны раскрывают бутоны, разливают цвета. Красные тюльпаны, у стебля кровавые; будто их срезали и теперь они там заживают.

Сад — царство Жены Командора. Я часто видела ее из противоударного окна: коленями на подушке, легкая голубая вуаль на широкой панаме, подле — корзинка с садовым секатором и обрывками бечевки — подвязывать цветы. Всерьез копает Хранитель, отряженный к Командору; Жена распоряжается, тычет тростью. У многих Жен такие сады — есть чем командовать, за чем ухаживать, о чем заботиться.

У меня когда-то был сад. Я помню запах перевернутой земли, пухлые луковицы в руках, налитые, сухой шорох семян под пальцами. Так быстрее проходит время. Иногда Жене Командора выносят стул, и она просто сидит у себя в саду. Издали кажется — мирно.

Ее нет, и я размышляю, где же она: не люблю неожиданно сталкиваться с Женой Командора. Может, шьет у себя в покоях, левая нога на пуфике, потому что у Жены артрит.

Или вяжет шарфы для Ангелов на передовой. Сомневаюсь, что Ангелам эти шарфы нужны; кроме того, Жена Командора вяжет слишком изысканные. Ее не увлекает звездно-крестовой узор, который вяжут многие Жены, — это банально. По кромке ее шарфов маршируют елки, или орлы, или оцепенелые гуманоиды, мальчик и девочка, мальчик и девочка. Не для взрослых шарфы — для детей.

Порой я думаю, что шарфы вообще не отсылаются Ангелам, а распускаются, опять растворяются в нитяных клубках, чтобы когда-нибудь из них вновь вязали. Может,